

РАСКАЗЫ

В НАЧАЛЕ ЧЕТВЕРТИ **Рассказ сельского учителя**

Случилось это в самом начале четверти. Буквально вчера я вернулся из города, куда ездил на время каникул, а сегодня рано поутру уже спешил привычной дорогой на работу. Весна в тот год выдалась теплая и сухая, дождей совсем немного. Над рекой и вдаль, за полем, расстился густой утренний туман. Я шел и думал о чем-то, что казалось важным в тот день — может быть, о впечатлениях от поездки, — или, напротив, строил планы на будущее, пытаюсь следить за тропинкой, чтобы не промочить ноги в высокой росистой траве, росшей у реки.

Высоко в небе — безоблачном, чистом — летели птицы, и я вдруг подумал, что за все время пребывания в городе, быть может, ни разу не взглянул на небо. Мне захотелось остановиться, прямо сейчас, здесь, но беглый взгляд на часы — и я быстрее зашагал по тропинке, пытаюсь мысленно вернуться на пару-тройку дней назад и припомнить городское небо, которое выветрилось из памяти или вовсе не попадало в нее; было сложно ответить точно, видел я его или нет за все время поездки. Нужно было спешить.

Наконец я выскочил на песчаную дорогу и замедлил шаг: ноги увязали в песке. Погруженный в раздумья, я неожиданно вспомнил о намечавшемся «окне» вместо третьего урока и, к удивлению своему, быстро и так же внезапно решил в это время уйти из школы и побродить у реки, посмотреть на огромное небо, поистине безмерное, ограниченное разве что горизонтом... Эта мысль придала бодрости, и я зашагал быстрее, почти вприпрыжку, тем паче что до школы оставалось каких-то пара минут.

Из соседних дворов наперерез мне неслись мальчишки, спешившие в школу. Они что-то обсуждали на бегу, оживленно и громко, но вместе с тем как-то невпопад, отчего разобрать слова было невозможно. Несмотря на это, сами участники дискуссии, по-видимому, прекрасно понимали друг друга, потому что беседа не только не прекращалась, но, судя по интонации, лишь набирала обороты.

Еще на подходе к школе, издали, я разглядел стоявшего на крыльце директора и насторожился: в самом деле, его нечасто можно встретить за пределами кабинета, — теперь же он как-то странно ежился и глядел по сторонам, попутно отвечая на приветствия детей, явно отвлекавших его от какого-то важного дела. Увидев меня, он махнул рукой.

— Ильин! — глухо выкрикнул он, так, как если бы окликал меня со спины. — Егор Евгеньич!

Артем Геннадьевич Ершов родился в 1994 году в Санкт-Петербурге. Магистрант кафедры русской литературы филологического факультета РГПУ им. А. И. Герцена. Победитель Третьего и Четвертого Всероссийского фестиваля литературного творчества учащихся (2010 и 2011). Первые публикации — в журнале «Творчество юных». В «Неве» опубликован рассказ «Пламя» (2016, № 7).

Я махнул в ответ, в знак того, что услышал призыв, и немного ускорил шаг. Стремительно вспорхнув на крыльцо, поравнялся с директором и пожал его руку.

— Здравствуйте, Петр Степанович.

Петр Степанович Рыжов, как вы уже поняли, директор нашей школы. Ему под пятьдесят, он одинок, лицо несколько обрюзгло от времени и оттого, что он, как бы это сказать, выпивает. Вот и сейчас чувствуется соответствующее амбре, порой не проходящее у Петра Степановича по целым неделям. Во многом поэтому он так редко выходит из кабинета, стараясь лишний раз не попадаться на глаза детям — все-таки дурной пример. Тем более настораживающим было его утреннее дежурство на школьном крыльце, у всех на виду: видимо, случилось что-то серьезное.

— Хорошо, что ты здесь, — на директоре был мятый серый пиджак, да и весь он выглядел помято. — Пойдем-ка ко мне.

Мы прошли по длинному коридору, маневрируя между детьми, отвечая на сыпавшиеся со всех сторон приветствия, и остановились у его кабинета. Петр Степанович пропустил меня вперед и медленно прикрыл за собой скрипучую дверь.

— Садись, — он указал рукой на стул, а сам прошел вглубь, открыл дверцу шкафа и зашелестел какими-то бумагами. — Ты же в город ездил?

Он достал две фаянсовые чашки и поставил на стол.

— Да, — ответил я, взглядом призывая директора задать более конкретный вопрос.

— Ну и как там в городе? — Он сел и вытащил из ящика термос. — Собор-то достроили?

— Реставрируют, — ответил я. — Леса еще стоят.

— Ну да, ну да, — вздохнул Петр Степанович, откручивая крышку термоса. — Чай горячий... с лимоном. Будешь?

Я внимательно взгляделся в его лицо: обвисшую кожу на землистого цвета щеках, мешки под глазами.

— Нет, пожалуй, не буду, — отказался я. Наши взгляды встретились. — Что-то случилось, Петр Степанович?

Он поставил термос на стол и встал.

— Да, — голос его звучал свободно, раскованно, — Кирилл не вышел на работу. У шестого «а», стало быть, математики не будет. Я тут посмотрел, — он машинально, не глядя, пошелестел бумагами на столе, — у тебя же «окно» третьим уроком, да?

Я кивнул.

— Ну, вот ты и возьмешь шестой на третьем уроке. Ладно?

— Ладно, — ответил я, но не встал с места, чувствуя, что разговор не закончен.

— Мать у него умерла, — Петр Степанович налил в чашку чай и выпил большими, звучными глотками. Стукнул чашкой о стол и продолжил, переведя дыхание. — Третьего дня... Вот отпросился. Завтра хоронят, так что...

Он замолчал, не докончив фразы, словно не знал, что должно следовать после этого «так что». Я тоже не знал. Минута прошла в молчании, затем он снова налил себе чаю и обратился ко мне:

— У тебя ж день рождения был на каникулах, нет?

Этот вопрос прозвучал как-то невпопад, в гнетущей тишине, после известия о смерти, что я не сразу нашелся, что ответить. Петр Степанович стукнул по столу пустой чашкой.

— Да, — сказал я.

В горле у меня пересохло, и я наконец попросил чаю, чем, кажется, несказанно обрадовал собеседника.

— Сколько стукнуло-то? — с какой-то беззаботной интонацией поинтересовался он, разливая по чашкам остатки чая.

— Двадцать пять.

— Четверть века, — зачем-то констатировал Петр Степанович со значительным видом.

Мы допили чай, который оказался мне безвкусным, не утоляющим жажду, а только обжигающим горло, и я заторопился на урок.

Пока плелся в класс по длинному коридору, пытался сообразить, что дать детям на внезапно образовавшемся третьем уроке, но мысли путались и ускользали. Утреннее настроение испарилось, хотелось думать не о бескрайнем небе, а о чем-то злом и черном, а может быть, и вовсе ни о чем.

Шестиклассникам (их было двенадцать) сказал, что вместо математики будет русский язык, и когда один из них спросил: «Почему?» — я не сразу нашелся с ответом, в замешательстве объяснив, что Кирилл Валерьевич заболел и в ближайшие дни математики не будет. Дети радостно и взволнованно загалдели, но я прервал их, сам не до конца понимая, почему не сказал им правду...

...Странное, тяжелое настроение овладело мною, и когда подошло время третьего урока, я не смог придумать ничего лучше сочинения на тему, кто как провел каникулы и какое событие запомнил больше всего. В классе было тихо и очень тепло; лучи весеннего солнца согревали воздух, слепили глаза, дети щурились и ерзали на стульях, стараясь спрятать лица, кое-кто прикрывался ладонью свободной руки.

Я вышел из класса и, подойдя к огромному окну в коридоре, открыл его. Хотелось увидеть серое, пасмурное небо, какое бывает перед внезапным и сильным летним ливнем... Глупо. Я давно знал, что погода не меняется в связи с чьей-то смертью: будь это самый положительно прекрасный человек, природе до этого нет никакого дела; в ее обязанности не входит забота о человеке и тем более — оплакивание его. Природа беспристрастна — настолько, что нередко беспристрастность ее путают с жестокостью. К чему, бездумно перенося на нее человеческие качества, которыми не всякий и обладает, пытаться обвинять ее в черствости? Да и многие ли знают, как вести себя в подобной ситуации? Плакать? Смеяться? Делать вид, что ничего не произошло?.. А что, собственно, произошло?.. Вот был человек — и нет его. И точно так же когда-нибудь не будет меня, директора, шестиклассников, а будет только это небо: ясное, чистое и никак не реагирующее на смену поколений... Страшно? Да вроде не очень... Вот и небу не страшно. И не жалко ничуть... как рыбакам не жаль рыбы, которой вдоволь в реках, а охотникам — птиц, которых вдоволь в небе, или зверей, которых вдоволь в лесах. Ведь жаль бывает лишь тех, кому суждено исчезнуть навсегда. Уссурийских тигров жаль, потому что их немногим больше двадцати особей и любой неосторожный шаг решает их судьбу. А нас каждый день по всей Земле помирает больше, чем всех тигров, вместе взятых, — как тут не остаться равнодушным?.. И с тиграми, к слову сказать, все не так однозначно: вот морских коров, например, тоже осталось в какой-то момент двадцать... а теперь ни одной. Они просто жили, а теперь их нет. А мы есть и ведем себя не многим лучше, чем злое и равнодушное небо, на которое смотрим с завистью, зная, что, когда нас не станет, оно будет синеть на рассвете и краснеть на закате, как синело и краснело, когда нас не было... Но разве тот, кто остается жить, виноват в чем-то перед нами, когда мы умираем?..

Когда осторожный шум, доносившийся из класса, постепенно перерос в открытый галдеж, я закрыл окно и вернулся в кабинет...

...Возвращаться домой не хотелось, и я до вечера просидел в школе, проверяя сочинения. За последние пару часов заметно похолодало, и воздух должен быть поморозному свеж — наконец можно пройтись и проветриться после странного и тяжелого дня. Я собрал вещи и вышел из класса. Опустевший коридор вздрагивал от гулкого эха моих шагов.

Во дворе перед школой я снова увидел Рыжова: он сидел на толстом сухом стволе поваленного дерева, когда-то грозившего упасть прямо на детей, за что и получило суровый приговор, приведенный в исполнение не до конца: опасное дерево спилили, но так и не разрубили на дрова и не вынесли с пришкольной территории; со временем оно высохло и уже несколько месяцев служило зловещим предупреждением для всех растений, собиравшихся своевольно раскинуть крону в опасной близости к детскому образовательному учреждению... Для всех же прочих оно служило скамейкой.

Я подошел к директору и сел рядом. Какое-то время казалось, что он не замечает моего присутствия, мы оба молчали, он смотрел в землю, я — на темнеющее небо.

— Ну, как день прошел? — не поднимая головы спросил Рыжов.

— Не знаю, — сознался я. — Вроде как обычно, но ощущения те еще... Целый день сам не свой.

— Как замена?

— Неплохо... Сочинение писали. — Где-то вдалеке залаяла собака. — Корни с чередованием повторить придется...

— М-м, — директор сидел неподвижно, то и дело ковыряя носком ботинка песок. — Про что сочинение-то?

— Про самое сильное впечатление на каникулах.

— И как там?

— У Звягиных корова померла... Витька пишет... Весь дом на ушах... Всю неделю бегали, думали, что делать — целая эпопея...

— Чем кончилось?

— Телку купили... Хотя это Витька пишет, что купили, а я чувствую, выменяли на что-то, уж больно там запутанная схема какая-то...

— Н-да, — директор взъерошил волосы на голове. — У Шевцова — мать, у Звягиных — корова... Н-да...

Подобное замечание казалось неуместным, но я промолчал. Все указывало на то, что Петра Степановича охватила тяжелая дума. Я решил попытаться развеять его тоску.

— А вот Лида написала, как она с родителями на выборы ходила. Вроде в школу, а вроде и нет. Очень забавное сочинение получилось — был там один такой момент... я так не воспроизведу, сейчас найду...

Я полез в портфель за сочинением. Рыжов поднял голову и повернулся ко мне.

— А ты сам-то, Егор Евгеньич, каких политических взглядов придерживаешься?

Вопрос прозвучал с парадоксальной неожиданностью, и я замялся.

— Я?.. Да не знаю, — сказал я наконец. — Беспартийный, наверное... А вы?

— А я — социалист-утопист.

Все еще роясь в портфеле, я решил было, что это очередная шутка, и уже готов был весело рассмеяться, поддерживая собеседника, но, взглянув в его сторону, осекся: тот был совершенно серьезен.

Вероятно, лицо мое выражало полнейшее недоумение, потому что Петр Степанович пустился в пространное объяснение своего неожиданного признания.

— Знаешь, я ведь, когда молодой был, как ты, я нарочно в городе не остался — что ты! — поехал сельскую школу поднимать — ни больше ни меньше. Мне ведь казалось: вот оно, время, — свобода, любые учебники, любые программы, индивидуальные планы... Навел тут шороху. Старики сидели тихо — вроде доживали свое — не совались никуда, а я совался... Везде совался, все хотел поменять, всех разогнать: кончилось ваше время, теперь-то все по-другому будет, по-новому. Никто мне, конечно, не мешал, но никто особо и не содействовал. Ездил в город, агитировал, зазывал — поднимать, изменять, возводить... Кое-кто поехал.

Так шло время. Нас заметили в районе. Старики ушли на покой. Я стал директором. Распределения давно уже не было — учителей, соответственно, тоже: зарплата упала, цены выросли, кое-кто уехал в город, кто-то просто уволился. Когда закрыли консервный завод, нормальной работы почти не осталось. Стали выпивать — тех же Звягиных дед, ты не знаешь, а ведь он спился тогда и помер. Многие поуждали, кто мог. Детей забрали с собой... А нет детей — так и школа не нужна. Мне так в районе и сказали. Сколько я крови тогда оставил... Ездил в город агитировать, звал поднимать, возводить, да никто не поехал. В Елисееву школу закрыли, объединили с нашей — слава богу, что не наоборот, — хоть как-то народ пошел. Да тоже — звонят, бывало, жалуются: мол, нашему Ивашке, чем за тридевять земель в школу гонять, проще дома учиться, все одно никакому уму-разуму вы его там не научите. Они мне выволочку, а я — в район. А там что? Только плечами пожимают: распоряжения нет, и хоть ты тут расшибись к... — он выругался по матери и затих.

Я сидел рядом с ним, ошеломленный неожиданно пламенным и горьким монологом, и не знал, что ответить. За все недолгое время нашего знакомства я ни разу не поинтересовался жизнью директора, его судьбой, дальше пустого вопроса о здоровье или причинах пропущенного дня. Всегда он казался мне человеком мелким и неготовым к серьезному разговору, и, должно быть, так же к нему относились и остальные. Теперь же мне открывался совершенно другой Петр Степанович Рыжов, одинокий, с обрюзгшим лицом, в помятом сером пиджаке, небрежно брошенном на ствол дерева, но совершенно не тот, каким я видел его утром...

— Приехал, менял, разгонял, — продолжал он, — а сам — чего добился? Что смог поднять, восстановить по-настоящему?.. Знаешь, — он поглядел на меня, — что самое обидное?

Я отрицательно помотал головой.

— Ты вот не знаешь, а я знаю: ведь было же все это... Понимаешь? Было! То, за чем я ношусь тут по всему району дольше, чем ты на свете живешь, — было же оно все, я же видел его, жил в нем... а теперь? Ведь, казалось, так просто! Да только куда уж...

Рыжов повернул голову и долгим пристальным взглядом посмотрел на здание школы.

— Вот вырастут эти твои шестиклассники, — тихим голосом продолжал он, — станут здоровенными лбами, как мы с тобой... а мы, значит, сами-то станем стариками беззубыми, сам понимаешь... И придут они к нам, беззубым, и спросят: «Вы-то сами что сделали, когда могли? Что нам теперь опосля себя оставляете? Шиш с маслом?» Я, знаешь, как подумаю об этом — так страшно мне, жутко просто...

Он помолчал несколько мгновений, а затем произнес сокрушенно:

— Ничего я не сделал...

Я невольно вздрогнул, и не от поднявшегося ветра.

— Ничего не сделал, — повторил он, — но разве же я не хотел сделать? Разве не пытался?.. Только кому... кому это интересно? Молодость беспощадна, она не принимает объяснений, и когда они придут, Ильин, я не смогу им ответить...

Мысль мою уже уносило далеко, по следам впечатлений прошедшего дня, и я, неожиданно для самого себя, сказал:

— А вы расскажите им про морских коров.

Петр Степанович выпрямился и посмотрел на меня с недоумением.

— Когда-то морских коров было много, — объяснил я, — и кто-то любил их. А потом их не стало. Совсем. И это случилось в то время, когда жили те, кто не хотел, чтоб они умирали, те, кто хотел и пытался помочь... Но теперь мы привыкли бросать свой вопрос без разбора, всему поколению: мол, почему не уберегли, за что истребили несчастных?

— Да-а, — протянул Рыжов и затих.

Ветер принес столбы пыли с песчаной дороги.

Я вдруг представил, как ко мне, старому и беззубому, придут нынешние шестиклассники... придет Витька, оплакивавший корову в своем неумелом, но бесконечно искреннем сочинении, и спросит: «Егор Евгеньевич, что же вы ничего не сделали, и Петр Степанович тоже не сделал ничего, и лежите вы теперь, беззубые и старые, и наставляете нас на прощание?», а я расскажу ему про морских коров, и он не послушает меня и через много лет, глядя на ясное и чистое небо, неожиданно для себя поймет, что я имел в виду... Да, молодость беспощадна, как Природа, беспристрастна до жестокости и не собирается вслушиваться в тихие оправдания старости... Но разве тот, кто умирает, виноват в чем-то перед теми, кто остается жить?..

ЛЮДИ И АНГЕЛЫ (ИЗ ЗАПИСОК А. В. ЕГОРОВА)

Бывают в жизни встречи, о которых не можешь потом забыть до конца дней; и кажется (или только у меня так бывало?), что продолжение такой встречи ждет нас где-то там, за последней чертой, а может, наоборот, в иной, прошлой жизни было положено начало неизбежному скрещению судеб, которое навсегда запечатлевается в памяти и затем преследует нас неотступно год за годом...

Мы ехали медленно по разбитой дороге. То и дело впереди мелькали серые лужи, коварные и предательские потому, что нельзя было угадать, какой глубины ямы кроются под ними, от чего приходилось объезжать каждую. Машина виляла из стороны в сторону, Петька ворчал и перехватывал руль руками, словно штурвал корабля, попавшего в шторм. Я молча глядел в окно; мелкие капли воды дрожали на стекле и спускались по нему, оставляя после себя витиеватые следы, послушные движениям руля.

Наконец машина повернула, и на подъезде к Л-ну мое внимание привлекла странная фигура, примостившаяся под дорожным указателем с названием населенного пункта.

— Стой, — сказал я, пытаюсь разглядеть темный силуэт.

— Что? — Петька повернул голову в мою сторону и притормозил.

— Да стой, говорю, — мы остановились. — Смотри туда...

Петька нагнулся и прищурился. Погода была пасмурная, небо заволочло тучами, и сквозь тонкую завесу мелкого дождя было трудно разглядеть того, кто стоял под дорожным указателем.

Я открыл дверцу и вышел из машины. Мокрый песок сменился травой; обочина довольно резко уходила в обрыв, у самого края которого и примостился незнакомец. Приблизившись, я понял, что это не был человек.

— Ну, что там? — Петька высунулся в окно со стороны пассажирского сиденья.

— Иди сам посмотри! — позвал я вполголоса.

Машина медленно съехала на обочину, Петька заглушил мотор и вышел.

Нашему взгляду предстала странная, в человеческий рост, фигура, изображавшая, по всей видимости, существо неземное, но тем не менее напоминавшее человека. Роста оно было среднего, с изящными руками, сложенными на груди... Но главное, что привлекало в фигуре, открывалось не сразу. Скульптура — а это, без сомнения, была скульптура, призванная встречать всех въезжающих в поселок, — была установлена таким образом, что лица существа издалека было не видно: оно оставалось в тени дорожного указателя. Судя по всему, сделано это было нарочно:

в лице статуи была ее главная тайна и прелесть. Странное, одухотворенное, неземное, оно производило удивительное впечатление — жизни, мысли, сокрытой в, казалось бы, пустом и безжизненном материале. Лицо это было не лицом даже, а, скорее, ликом; человеческим, но не таким, какое мы привыкли видеть у наших знакомых или у прохожих, а пожалуй, слишком человеческим, чрезмерно человеческим — таким, каким ему следовало бы быть...

Я про себя назвал существо ангелом и попытался подойти поближе, чтобы понять, из чего сделана статуя, но неожиданно моя нога скользнула по мокрой траве, и я чуть не скатился кубарем в обрыв. Петька помог мне удержаться на ногах и сказал, что лучше тут не скакать. Мы вернулись к машине.

— Нужно найти кого-нибудь из жителей и узнать, кто поставил здесь эту фигуру, — сказал я, стряхивая с головы мелкие капли дождя. Петька вздохнул и завел двигатель. Машина тронулась, а я все всматривался в таинственного ангела, но, к несчастью, с этой стороны почти ничего не было видно.

Мы ехали долго, поворачивая наугад, пока не поравнялись с одиноким прохожим в дождевике. Я выглянул в окно:

— Простите, пожалуйста! Не могли бы вы нам помочь?

— А? Что? — хриплый голос и озорной прищур показались дружелюбными.

— Вы не знаете, кто поставил скульптуру на въезде в поселок?

— Идолище-то? — прохожий добродушно засмеялся. — Дак это Митька Кривой строгаёт... Ну... Федотов, значит.

— Как? Федотов?

— Ну да...

Я спросил, где можно найти Федотова, и, узнав приблизительный маршрут, распрощался с одиноким прохожим. Путь наш лежал через весь поселок, на противоположную его окраину.

— И зачем мы едем туда, — ворчал дорóгой Петька, — не понимаю. Ведь тут срезать надо было, и к вечеру были бы на месте... К какому-то Кривому еще понесло...

— Да ты, наверное, не разглядел ту скульптуру хорошенько, — отвечал я. — У него лицо такое... понимаешь... Как у ангела... Разве можно такое сделать?

Петька вздохнул и прибавил скорость. Минут через двадцать перед нами раскинулся лес.

— Все, приехали. Дальше некуда.

Я поглядел по сторонам.

— Вон же, вон! Наверное, это тот дом и есть!

Мы подъехали ближе и остановились возле старого, покосившегося деревянного домишки, прислонившегося к кривому сарайчику.

Уговорив наконец Петьку пойти вместе со мной, я приблизился к развалившемуся крыльцу и увидел, что дверь, ведущая в дом, не закрыта — на ней не было ни ручки, ни какой-нибудь защелки. Я постучался и осторожно потянул ее на себя. Ответа не последовало. Тогда я постучал сильнее и заглянул внутрь.

Навстречу из темноты беззвучно вышел высокий человек в темном фартуке, во круг шеи у него был обмотан растрепанный серый шарф, а довершали образ точно так же растрепанные светлые волосы и густая борода.

— Кто там? — спросил он тихим и ровным голосом.

— П-простите, — начал я, заикаясь от волнения. — Вы Федотов?

— Да, это я, — он вышел в прихожую, обдавая нас запахом деревянной стружки (или мне показалось?). — Да вы не стойте в дверях-то, проходите.

Хозяин дома медленно опустился на стул, а мы вошли и расположились подле него в прихожей. Федотов глядел на нас внимательно, но очень спокойно, словно

старался запомнить или, наоборот, вспомнить, где он мог видеть нас раньше. Правый глаз его поблек, должно быть, давно, был пуст и холоден, в левом же еще теплилась живая жизнь и, казалось, отражалась душа этого человека. Неожиданно для себя я осознал, что пауза затягивается и надо что-то говорить. Петька ткнул меня в бок.

— Мы увидели скульпт-туру на въезде в поселок, и нам... захотелось узнать, кто ее сделал... И нам сказали приехать сюда.

Федотов молчал, оглядывая меня и Петьку. В какой-то момент мне показалось, что сейчас он выставит нас из дома, и, пожалуй, я даже был бы не против этого, не стал бы спорить, сел бы в машину... Но тут скульптор поднялся со своего места, прокашлялся и сказал все так же тихо и спокойно:

— Ну, хорошо, проходите.

Мы с Петькой переглянулись, но выбора не было. Осторожно ступая по деревянному полу, мы прошли в глубь дома, следуя за высоким человеком в фартуке. Дойдя до противоположной стены, он отворил перед нами невысокую дверь и жестом пригласил войти. Я прошел первым, увлекая за собой сомневающегося Петьку — он всегда готов вообразить себе невесть что и никогда не полезет ни в какую любезно открытую перед ним дверь, тем более не будет стучаться в запертую... Дверь была достаточно высока для меня и вела в сарай, к которому притулился покосившийся дом; Федотову, по всей видимости, приходилось нагибаться, чтобы протиснуться сюда, однако сам сарай был просторным и высоким — приглядевшись, я понял, что весь он был заполнен скульптурами, подобными той, что мы видели около часа тому назад...

Точно живые, стояли они друг подле друга и смотрели во все стороны: сгорбленные, морщинистые старики, сильные, суровые мужчины, спокойные женщины — все они выглядели так, как могли бы выглядеть реальные люди, хотя бы жители этого самого поселка. Но среди них я не мог найти ту, что обладала прекрасным и необыкновенным лицом, которое привлекло мое внимание там, в тени под дорожным знаком. Немного поодаль примостились стол и ящик со столярными инструментами.

Побродив по сараю, я решил заговорить с Федотовым, все это время тихо стоявшим у стены.

— И давно вы делаете эти статуи?

— Давно...

— Но... почему они все у вас здесь? Только одна стоит на въезде.

Федотов закашлялся.

— Ну, а где им стоять? Так-то они не нужны никому, знаете... У меня стоят. Василия я поставил на въезде, а так... Иногда приходят люди, просят... Если, бывает, помрет кто, говорят: сделай его, на могилу поставить... И я делаю. А так не надо никому... не нравятся они им.

Мое внимание привлекла фигура очень маленького роста, стоявшая ко мне спиной. Я медленно обошел ее, присел, стараясь взглянуть в скрытое тенью лицо, и замер. На меня смотрели те самые глаза, живые, одухотворенные, ангельские... Это была статуя ребенка.

— А почему Василий? — спросил Петька.

— Василий? Да это брат мой, Василий, царствие ему небесное. Старшенький он был... а умер раньше... Собак очень любил, они ходили к нему... Мы всё кормили их... И дети соседские ходили... А теперь не ходят... Дети. Он им свистульки делал такие, знаете... Свистульки... Любили его. А потом... машина сбила... там, на въезде... Он теперь всегда стоит там. Я его поставил там и... хожу к нему иногда. А дети не хо-

дят больше... им родители не дают. И ко мне никто не ходит... разве только если помрет кто, то на могилку... поставить...

Мы молча смотрели на Федотова, тонкая фигура которого возвышалась над нами и над всеми статуями, столпившимися в старом кривом сарайчике.

— А откуда вы берете материал?

— Что?

— Ну, дерево... откуда...

— А... так это мы с братом еще закупали на зиму, а что-то сам по дороге найду... Тут зима холодная выдалась, а я и забыл, отвлекся и, как начались морозы, гляжу — нет дров никаких, все колоды ушли... А их, — широким жестом он обвел свои творения, — в печь я не смог... не решился.

Тут он закашлялся и затянул потуже шарф. Ошеломленный, я подошел к Федотову и сказал:

— Но ведь это — искусство, понимаете? Ведь это монументы, вы могли бы их показать людям...

— Ой, да какое там искусство, — вздохнул он. — Всего этого и так много везде и всюду... А нужно что-то такое... такое, — он сделал неопределенный жест и замолк.

Подождав немного и как бы собираясь с мыслями, он наконец продолжил тихим голосом:

— Если вы спросите меня, какого памятника нам не хватает в мире, я скажу, что нужно поставить памятник непонятой доброте... Знаете, я думал долго о том, каким он должен быть... о том, как можно отобразить... И наконец понял. Это — большая композиция: один человек, худощавый, в простой одежде, развеваемой ветром, кормит с рук потрепанную собаку, у которой нет задней лапы... а вокруг них, на разном расстоянии, другие люди, самые разные — одни одеты богато, другие бедно, разные волосы, разный возраст — и вот все они показывают пальцем на человека, кормящего собаку, и кто-то смеется, кто-то будто обращается к соседу, словно говоря: «Вот дает, дурачина-то!», кто-то смотрит с презрением... И среди всех этих людей — их довольно много, вот как здесь — есть женщина, которая держит за руку ребенка... и... знаете, этот ребенок — единственный, кто не тычет пальцем, а очень непосредственным, таким детским внимательным взором глядит на человека с собакой, — на этих словах Федотов остановился, и в сарае воцарилась тишина. — Вот такой монументальной композиции не хватает миру. Она должна бы располагаться на площади, где много места, все фигуры в человеческий рост... знаете, в натуральную величину... чтобы можно было ходить среди них и заглядывать в лица тех, кто не понял чужой доброты... А это все, — он снова указал на обитателей сарайчика, — так, никому не нужно... просто... мои люди... и всё.

Мы стояли молча, не в силах сдвинуться с места. Лицо Федотова было спокойно, он уже не рассматривал нас, а глядел куда-то вдаль, быть может, прозревая новый замысел или в который раз представляя композицию, столь необходимую миру.

Мысли роились в голове, но наконец стало совершенно ясно, что делать дальше. Сомнений не было. Я сказал:

— Давайте поедem в город. Отвезем ваши скульптуры, покажем людям... Они оценят, они должны увидеть... Вы сможете рассказать им о своем замысле, о монументальной композиции... Ну же, решайтесь!

Федотов медленно перевел на меня взгляд, ни один мускул не дрогнул в его лице.

— Я не могу, — сказал он тихо и спокойно. — Я должен быть здесь, с ними, а они со мной. Они, кроме меня, не нужны никому...

— Но...

— Пусть все будет так, как есть.

Он закашлялся и вышел, согнувшись. Через минуту за стенкой что-то загремело. Заглянув в дом, я увидел, как Федотов выносит небольшую железную кастрюлю. Где-то вдалеке раздался собачий лай... Петька стоял, прислонившись к стене, и молча глядел на обитателей сарая.

Не знаю, должен ли я был попытаться уговорить Федотова еще раз или еще множество раз, но, вспомнив о нашем недавнем желании спокойно уйти из этого дома, я напомнил о нем Петьке, и через пять минут мы стояли перед старым покосившимся домишком, глядя на спокойного и невозмутимого скульптора-одиначку. Он попрощался с нами молча, кивком; дождь усилился, и Федотов зашел в дом, а мы сели в машину и двинулись в обратный путь.

Дорогой я долго смотрел в окно, но не видел ничего, кроме несуществующей скульптурной композиции с двумя ангельскими лицами: Василия, кормящего с рук собаку, и ребенка, в маленькую ручонку которого вцепилась мать.

СРЕДИ МОГИЛ

В воскресный день вагон был переполнен, и Петр вышел в тамбур. Он снял большой зеленый рюкзак и, положив его на пол, прислонился к стене. Поезд медленно тронулся, пассажиры еще какое-то время шумно перемещались по вагону, но вскоре все более или менее успокоилось, и Петр перевел взгляд на сосновый бор за окном. Из двадцати восьми лет своей жизни семнадцать он провел в деревне, а после школы перебрался в город для продолжения учебы. С тех пор в родных краях был лишь однажды — на похоронах отца. Это случилось шесть лет назад: тогда Петра срочно вызвали телеграммой прямо во время зимней сессии и, вырвавшись всего на один день, он простился с отцом и уехал обратно в город на долгие годы... Сегодня, в единственный выходной, Петр оказался в поезде по настоянию жены, которая сильно переживала, что муж ни разу не посетил могилу отца. Много раз он находил всевозможные отговорки, ссылаясь на загруженность, один раз даже съездил на вокзал, но вернулся, сказав, что расписание электричек изменилось. А вчера возмущенная жена заявила:

— Завтра ты едешь на кладбище. Никаких отговорок. Собирай инструменты.

— Какие инструменты? — глухо отозвался Петр.

— Такие инструменты, — передразнила жена. — Сколько лет ты не был у него? Пять? Там все заросло, наверное, бог знает как! Еще поди найди...

...Сосновый бор за окном кончился, открылась бескрайняя равнина с редкими холмиками стогов. Поезд набирал скорость, дребезжали в рюкзаке инструменты. Он понимал, что давно должен был выбраться на кладбище, но в то же время не хотел туда ехать. Тем более один. Почему жена не поехала с ним? Ну, конечно, а кто останется с Дашенькой?.. Да... Ладно. В конце концов, это его долг если не перед отцом, то хоть перед его памятью. Вспоминал ли он об отце после похорон? Изменилось ли что-то в жизни с его уходом? Петр не видел его пять лет до смерти... И вот теперь прошло шесть лет после похорон, и он совсем не думал, не вспоминал о нем... Страшно. Петр вздрогнул, так, словно кто-то задел его, но в тамбуре никого не было.

Где-то вдалеке послышался мотив, отдаленно напоминавший песню, — это в вагоне занимался привычным делом бородатый мужик с аккордеоном. Разудалой походкой пробираясь через забитый пассажирами проход, он скоро перебирал пальцами по клавишам, потряхивая мелочью в железной банке, висевшей у него на поясе. Петр посмотрел в окно. Огромное, вполтину больше полоски земли, небо отчетливо разделилось пополам: слева оно было ясным и безоблачным, а справа, по

направлению движения поезда, сгущались темные сине-серые тучи. Открылась дверь, и бородастый мужик вышел в тамбур, прислонился к противоположной стене и аккуратно опустил на пол свой инструмент. В следующее мгновение в руке у него блеснуло что-то металлическое; приглядевшись, Петр понял, что это фляга. Хлебнув из нее, мужик крикнул, спрятал емкость за пазуху, осторожно поднял аккордеон и, накинув ремни на плечи, прошел все той же разудалой походкой в следующий вагон. Двери закрылись, и из соседнего вагона донесся тот же знакомый мотив, наконец сложившийся в песню, — подобревший после посещения тамбура мужик решил подкрепить музыку словами, — но вскоре голос постепенно затих. На окне выскочили первые маленькие капельки дождя. Железная дорога шла по насыпи, словно приближая поезд к затянутому тучами небу. Петр посмотрел на часы — бо́льшая половина пути была позади.

Дождь заметно усилился. Выйдя из вагона и схватив рюкзак в охапку, Петр в несколько прыжков пересек перрон и скрылся в чайной. Начался самый настоящий ливень, и, садясь за стол у окна, Петр еще раз посмотрел на часы, пытаясь предугадать, насколько он может затянуться. Времени оставалось мало. Через четыре часа обратный поезд, а до кладбища путь неблизкий — если опоздаешь, следующий поезд только вечером.

В чайной было тихо и безлюдно, за окном проносились вагоны, вечно то-ропящиеся люди с большими зонтами натывались друг на друга, какой-то человек забыл на перроне чемодан, и до него пытались докричаться — под проливным дождем, держа потерю обеими руками, он горячо благодарил равнодушных свидетелей его рассеянности. Петр пил горячий чай и нервно стучал пальцами по столу, то и дело поглядывая на часы и на лужи за окном.

«Как я вообще отыщу то место? — думал он. — Прошло шесть лет, и кладбище наверняка разрослось, а я тогда не очень-то запоминал расположение... Болван... Весь день придется бродить по кладбищу... Хотя, — его посетила внезапная мысль, — мне ведь надо искать лишь среди заросших могил... а их там должно быть не так много». Петр на мгновение обрадовался, но тут же горько усмехнулся своей радости. Конечно, отцу уже все равно, но немного стыдно перед ним, перед собой. Почему все случилось именно так?..

— Эгхм... Брат, подкинь червонец, а? На чаек не хватает... а?

Напротив Петра примостился помятый человек с растрепанными волосами и большими ушами. Он криво улыбался какой-то заискивающей улыбкой, придававшей его невыразительному лицу, покрытому жесткой неравномерной щетиной, выражение некоторого стеснения, от чего он своим видом напоминал провинившегося школьника, пытающегося уговорить строгого учителя не вписывать замечание в дневник.

— На чаек, говоришь? — спросил Петр, засовывая руку в карман куртки.

— На чаек, братец, на чаек... Если подкинешь, можно и вместе, — новый знакомец посмотрел на Петра уже приглашающим взглядом, почти бессознательно изображая правой рукой жест, в известных кругах обозначающий бутылку. Петр вытащил пару купюр и передал незнакомцу.

— Витя, — выпалил тот, с благодарностью принимая деньги одной рукой и протягивая своему благодетелю другую.

— Петя, — слегка усмехнувшись не то над собой, не то над ситуацией, ответил Петр, пожимая протянутую руку.

— Айн момент, — бросил Витя и исчез. Петр посмотрел на часы. Затем — за окно. Дождь лил по-прежнему. Петр громко стучал пальцами по столу: провести ближайшие полчаса (а может быть, и больше) в обществе стеснительного алкоголика Вити

не входило в его планы. Вся эта непредвиденная и странная ситуация грозила затянуться надолго; а в самом худшем случае — до самого вечера.

— А вот и я, — Витя вернулся с бутылкой красного крепленого вина и двумя стаканами.

Петр криво улыбнулся и стал смотреть в окно на проходящий поезд, пока его новый знакомец возился с пробкой, вытащив из кармана перочинный нож. Наконец преграда была сломлена, и Витя с торжествующей улыбкой налил каждому по полстакана. — Ну что, — произнес он, потирая руки, — твоё здоровье, братец.

Звякнули стаканы: Витя осушил свой, а Петр лишь пригубил и снова полугорько усмехнулся тому, что здоровье его обмыто теперь только наполовину. Подобревший Витя налил себе еще полстакана. Петр посмотрел на часы. Дождь не утихал.

— Следующий тост твой, — напомнил знакомец.

Петр задумался. Ему очень хотелось избавиться от назойливого человека с бутылкой, но по всему было видно, что это не так-то просто. Да и дождь. Нельзя просто уйти. А демонстративно пересесть и отвернуться, пожалуй, уже поздно. И почему он сразу не отказался?

— Эхе-е-ей, — Витя потряс перед Петром стаканом.

— Ну, — Петр судорожно перебирал в голове разные глупости, которые он слышал во время застолий. — За мир во всем мире, что ли...

— О! Молоток! — прохрипел Витя и осушил второй стакан, звонко хлопнув им о стол и зачем-то потеряв свои огромные уши... Было в этом человеке что-то, что не давало Петру покоя — отвлекало от размышлений о кладбище, о доме, о прошлом, о нескончаемом дожде. Мимолетный жест помог неясному чувству обрести четкие формы: да, это был он, лопухий Витька, круглый отличник из параллельного класса... Чуть больше десяти лет назад они оба стояли на торжественной линейке по случаю окончания школы. Это был последний раз, когда они виделись... до сегодняшнего дня, как оказалось. Помятый человек, доливавший остатки вина в стакан, был так не похож на юного, подающего надежды будущего инженера из «а»-класса... Присмотревшись внимательней, Петр признал его окончательно. Да, его глаза, нос, да и уши ни с чем не спутаешь... и это его движение... Раньше он делал так, решая сложную задачу по алгебре, а теперь...

— За чудесные школьные годы, — выпалил Петр выжидающе смотревшему на него собутыльнику. Тот на мгновение замер, затем криво улыбнулся, кивнул и выпил содержимое своего стакана, резко запрокинув голову.

«Узнал ли? — думал Петр. — А если узнал, отчего не подает виду?.. Хотя понятно... Да и потом... Отчего-то я и сам не подаю виду, что узнал его... Но это действительно он... А если не узнал? Сказать ему? Зачем? Чтобы смутился еще больше?.. Едва ли его устраивает такая жизнь... Господи, что же с ним произошло?..»

Витя пробормотал что-то неразборчивое, а затем вновь обратился за материальной помощью. Петр пошарил в карманах и дал ему еще денег; проводив рассыпающегося в благодарностях Витю взглядом, он мельком глянул в окно и совершенно неожиданно обнаружил, что дождь кончился. Петр посмотрел на часы: еще можно успеть до обратного дневного поезда. Быстро одевшись и закинув рюкзак за спину, он бросил последний взгляд на школьного товарища.

— Хозяюшка, — негромко говорил тот, — еще бутылочку...

Петр выскочил из чайной и, перепрыгивая через лужи, стремительно зашагал к шоссе. Пару раз он хотел обернуться, но отчего-то не сделал этого. Нужно было спешить. Нужно было спешить...

...Всю дорогу Петра преследовали воспоминания о детстве, проведенном в деревне. Чудесные годы, полные солнца, тепла, пения птиц, запаха хвои, хрустящего

снега, шумного речного потока... Где это все? Проходя по знакомым местам, Петр не узнавал их и несколько раз останавливался, охваченный мимолетным чувством, что вот на этом пустыре когда-то стоял дом, куда они ходили в гости к двоюродному дядьке, а здесь, на месте обрыва, был большой деревянный мост, скрипевший так страшно, что, проходя по нему, ребята проверяли свою отвагу. Разбитая шоссейная дорога, когда-то проложенная прямо через поселок, словно перечеркнула все раз и навсегда. Возвращаясь в прекрасный цветущий сад, Петр попадал на выжженную землю; видя себя в кругу родных и друзей, он словно бродил среди могил.

Размышления о судьбе лопухого Витьки заслонили прежние мысли об отце и о предстоящей «встрече» с ним на кладбище.

— Как же это могло случиться? — вслух бормотал Петр, шагая по серому, растрескавшемуся асфальту.

«Нужно будет найти его... на обратном пути... Спросить адрес, приехать на будущей неделе... Он наверняка сидит еще в чайной и просидит там до вечера... Если управиться и все сделать быстро, — Петр нервно взглянул на часы, — то можно успеть...»

...Кладбище располагалось на повороте большой дороги, по сути, посреди леса. Постепенно расширяясь, оно уходило далеко в глубь соснового бора, разрастаясь во все стороны. Заметив первые одинокие надгробия, Петр свернул с дороги и осторожно спустился вниз, пробираясь через сухие кусты к чуть различимой дорожке. Ближайшие часы не сулили ничего хорошего: долгие изнурительные поиски, необходимые «садовые работы», гнетущая атмосфера — все это не то чтобы пугало Петра, но вызывало какое-то темное и тревожное чувство. Проходя по дорожке, сворачивая в произвольных местах, он выискивал самые заросшие могилы, стараясь не вглядываться в фотографии на надгробиях.

Вдруг он заметил какое-то движение. Петр остановился, приложил ко лбу сложенную козырьком ладонь и пригляделся. Вдалеке виднелась человеческая фигура. Сердце забило сильнее, и Петр направился к тому месту. Приблизившись, он увидел пожилого человека, очищавшего могилу от веток кустарника и мелких корней.

— Бог помочь! — произнес Петр, подходя к незнакомцу.

Старик повернулся, и глаза его заблестели нечаянной радостью.

— Здравствуй, милоч, — сказал он, локтем отирая пот со лба.

— Трудитесь? — осведомился Петр, указывая на могилу. — Давайте помогу?..

Старик не отказался, но посоветовал, что у него только один нож, на что Петр торжественно раскрыл рюкзак и извлек новенький блестящий секатор. Работа пошла быстрее.

— Страшно, — начал вдруг Петр, — как кладбище разрастается... Скоро уж и леса не хватит...

— А чего же сделаешь? — глухо отвечал старик, переламывая засохшие ветки.

— То-то и оно, что ничего... Оттого и страшно...

— Да разве ж страшно? — старик посмотрел на Петра. — Что закон — то не страшно, того изменить никак нельзя; чего тогда его бояться?.. Каждому свой срок положен, чтобы пройти по жизни, посмотреть, что к чему, поучиться, потрудиться... да там и на покой сойти... Сколько лет на том весь свет стоит, а ты — страшно!..

Несколько минут работали молча, затем старик произнес:

— Это нам с тобой здесь может быть страшно, а им там небось не страшно уж боле. Ты, когда на свет божий народиться должен был, небось тоже боялся, только не помнишь... А там... Там тоже не вспомнишь, как тут боялся...

— И что же, совсем ничего не вспомню?

— А то одному Богу известно, вспомнишь или нет... Но бояться будет нечего. Мы ведь отчего боимся-то? Оттого только, что не знаем, как там все устроено, —

старик посмотрел на небо и отер пот со лба. — Мы и здесь-то ой как не всё понимаем, зачем да почему так устроено. Оттого и здесь порой страшно... Здесь-то, говорю, не страшно тебе?

Петр вспомнил свою случайную встречу с лопухим Витькой и ответил:

— Страшно... Не понимаю, как так все происходит...

— Эх, пойдем ли когда, — вздохнул старик. — Разве что там... Тогда и успокоимся.

Наконец могила была освобождена от веток и мелкой травы. Двое живых в царстве мертвых — молодой и старый — отдышались, присев на пень.

— Кто это? — спросил Петр, указывая на надгробие, покрытое пылью и грязью настолько, что нельзя было разобрать надписи.

— Сейчас узнаем, — все так же глухо отвечал старик, доставая из мешка какую-то рваную тряпку и полупустую бутылку с водой. Он смочил ткань и принялся осторожно, но при этом с силой оттирать грязь с надгробия. По спине Петра пробежал легкий холодок.

— Вы... вы... не знаете?..

— Не, — отвечал старик, не оборачиваясь.

— Но... почему?..

— Я на этом свете, милоч, давно живу... Много перевидал, многое нажил да и потерял много... Никого у меня не осталось, все здесь, родные мои, жинка, все тут теперь. Хожу я к ним часто, проведать... А есть могилки, знаешь, заросшие, старые, неухоженные, потому что у них никого здесь не осталось. Понимаешь? Вот я помру, лягу здесь, со всеми рядом, и кто останется? Никого. И у них так же, — он снова смочил тряпку водой из бутылки. — А я и подумал: пусть вот у них я буду... Чем они виноваты, что одни остались? — Петр взглянул на старика. — Ничем. Вот я и стал ходить, помогать им, значит... Да...

Наконец старик закончил, и в луче солнца блеснула бледная эмаль фотографии.

— Иванова Марфа Федоровна, — прочитал Петр.

— Да, как же, помню, — пробормотал старик, еще раз бережно протирая надгробие.

...Спустя полчаса Петр нашел могилу отца. С чистого, бережно вымытого деревянного креста, возвышавшегося над очищенной от кустарника могилой, на него смотрела надпись: «Наумов Сергей Викторович. 1960—2008».